

## КАК Я УМНОЖАЛ СКОРЬБЬ

### У меня не хватает электронов

Из всего того богатства знаний, которыми меня щедро одарила советская школа, помню я лишь таблицу валентностей химических элементов и золотое правило «жы-шы пиши с буквой и». Но, честно говоря, знал я это еще до того, как пошел в первый класс. Таблицу валентностей я запомнил только потому, что моя старшая сестра зубрила ее в своем седьмом, как что-то стихоподобное. Видно, меня влекло такое нетривиальное соединение высокой поэзии со строгой научностью. Когда же я сам не без труда добрался до седьмого, оказалось, что с таблицей не все в порядке. То ли сестра из поэтической вольности где-то переврала, то ли неугомонный Менделеев за это время успел что-то изменить. К тому же, в стихке были перемешаны названия элементов и химических знаков. А когда ко всему прочему прибавилось умножающее скорбь знание, что некоторые элементы могут свою валентность менять, в моей бедной голове все поплыло, и дальнейшее умножение скорби она воспринимать перестала. Да и химичка наша была не подарок: она напоминала какую-то неудавшуюся, вяло протекающую кислотно-щелочную реакцию. Ее предмет стал для меня самым ненавистным, и в восьмом, безо всякой жалости прощаясь со школой навсегда, я вытянул химию еле-еле. Так что слегка искаженную таблицу я могу и сегодня оттарабанить наизусть, но я совершенно не представляю себе, что такое валентность.

Вот именно в этом состоянии и находились мои знания до того, как я отправился в школу.

Не припомню, чтобы у меня вообще было желание туда отправляться. Моя сестра проявляла уже тогда незаурядный талант воспитателя и тонкого знатока человеческих душ: она щедро делилась со мной своими школьными впечатлениями, с удовольствием пугая учительницей начальных классов Анфисой Николаевной. Эта деревенская баба (чье имя-отчество, в отличие от моих собственных учителей, я запомнил навсегда) беспрестанно орала на детей и витиевато-фольклорно обзывала их «горелыми пеньками».

Я ненавидел ранние подъемы и пользовался любым предлогом, чтобы не отправляться в школу. Я обучился нехитрым уловкам вроде поливания градусника горячей водой или же укладывания его на батарею отопления и безо всякого зазрения совести играл на беспокойстве моей еврейской мамы по поводу малейшего детского насморка.

Мои воспоминания о школе скудны и весьма избирательны. Педагоги запомнились расплывчато, яснее – как мы их доводили, попеременно вставая и садясь при входе учителя в класс, мыча и жужжа или, наконец, просто сбегая. Классы вижу смутно, зато четко – уборную для мальчиков, где тоскливо посматривал на чужие, такие не по возрасту внушительные достоинства... Из одноклассников хорошо помню курчавого, с ясными голубыми глазами садиста Волкова-короткого, любившего безжалостно заламывать и выкручивать мне за спиной руки, философствующего подонка Волкова-длинного, а также хорошенького антисемита Семенова и отличницу Якунину с глупым блиновидным лицом.

В школе я дружил с одним только Колей, превосходящим даже нашу Якунину по части пятерок. Мы болтали все перемены напролет и по дороге из школы тоже, обсуждая все на свете, пересказывая книги, фантазируя, строя теории. Однажды мы додумались до формулы комбинаторики, заслужили поздравления матерого педагога математики старших классов и очень этим гордились. Мы не переставали болтать и на уроках, а иногда играли на парте в футбол комочком бумаги или даже в шахматы. Это было совсем непросто, ибо они были рисованные: на листе бумаги царапались значки, обозначающие фигуры, которые при каждом ходе стирались и рисовались заново, пока на листе не образовывалась сначала трудноразличимая каша, а вслед за ней и дырка. Если же нас уличали – выгоняли из класса,

ясное дело, только меня. Мой друг был вне подозрений, он всегда сохранял бдительность и был в курсе происходящего, я же не поспевал за ним и беспрерывно хватал «неуды».

Так, не замечая ничего вокруг, я провел все школьные годы. Увлечения девочками были мимолетны, и я, за исключением пары провозаний, еще не тратил на них много времени. Только уже поступив в музыкальное училище и случайно встретив во дворе бывшего одноклассника, я узнал от него о целом куске упущенной мной запретной жизни, которая тайно бурлила вокруг меня все эти школьные годы, вовсе не подозревавшего о вечеринках с выпивкой, танцуйками, поцелуйчиками и обжиманиями, где наша блиновидная зубрила безобразничала больше всех.

## Калейдоскоп

Надо сказать, с педагогами по фортепиано у меня как-то с самого начала не сложилось, да так до самого конца и продолжалось. Помыкался я здорово и сменил их за свое обучение штук восемь. Видно, они были не слишком-то выносливыми, поскольку или умирали – некоторые сразу, другие чуть погодя, – или же покидали пределы нашей Родины – одни на время, другие навсегда. Возникало нехорошее подозрение, уж не я ли тому виной.

Особенно хорошо запомнилась мне вторая учительница, Клара Исаковна Миркина – тучная пожилая дама, которую я за глаза звал «Клариса». Она была очень добросовестна и мучительно прививала мне правильные навыки. Бесперывно останавливая меня, она пыталась что-то исправить и долго объясняла, чего она хочет. Я вроде бы ее понимал и тоже старался изо всех сил, но она все время заявляла: нет, совсем не то! Я играл еще раз, и еще, и снова, и – вдруг – о чудо! – она оставалась довольной и радостно трясла головой: вот-вот! давай так же еще разок! Но в том-то и была загвоздка, что я, хоть убей, не понимал – что ж я такого сделал и как умудрился стать причиной такой невероятной радости? Обреченно пробовал я повторить как можно точнее это мое последнее завоевание. Тщетно! Тут она уже ничего больше не говорила, и я с тоской наблюдал, как ее радость бесследно исчезала, уступая место глухому отчаянию – тому чувству, которое сейчас и мне, учителю фортепиано, слишком хорошо знакомо...

## Бедный Демьян

Настроен я был уже в эти годы критично, нелояльно и полит-некорректно. Меня раздражала не только пионерская организация и зазубривание клятв, которые стоили меньше пустых обещаний, но и армейско-лагерная закваска всей основанной на страхе школьной системы, с ее строгим арестантским хождением по кругу на переменах, запретом прислоняться к стене или подоконнику или спускаться на другой этаж, фискальным характером всевозможных дежурств и пофамильной перекличкой. Только сейчас это кажется диким – что с самого роддома, с яслей и до крематория советского человека всюду выкликали только по фамилии. Имя изгонялось как нечто недостойное, слабое и постыдно-интимное – учителя никогда не опускались до имени ученика, даже в доверительной беседе с ним (впрочем, я таких бесед что-то вовсе не припомню).

Мужества выступать против системы у меня никогда не хватало, но в допустимых рамках я пытался свою точку зрения отстаивать. Весь класс в едином порыве патриотизма осудил мою интеллигентскую мягкотелость, когда я призвал помиловать изменника Андрия, младшего сына Тараса Бульбы, полагая, что такое всепоглощающее чувство, как любовь, если и не оправдывает предательства, то делает его заслуживающим снисхождения. За содержание сочинения «Мое представление о счастье» обескураженная учительница поставила мне компромиссную «четверку». Написано оно было в свободной манере полемического диалога, где, среди прочего, на примере спутников Одиссея, обретших счастье после превращения их в свиней, обсуждалась неслучайность совпадения счастливого и скотского состояний. Здесь было приписано красными чернилами: «рассуждения странны в любом смысле!», а напротив строки: «**что** больше всего ценит

животное – благополучие или свободу – на это может дать ответ лишь оно само» нацарапано глубокомысленное «к сожалению, на это ты ответа не получил...»

Лишь один раз я «пострадал» в школе «по политической линии»: в раздевалке у кого-то стянули что-то ценное из пальто, нас задержали и не знали, то ли устроить допрос с пристрастием, то ли обыскать. Все толпились в ожидании неизвестно чего, царила страшная неразбериха, и я в сердцах обзвал все это безобразие «шарашкиной конторой». Чьи-то чуткие уши уловили мое безобидное высказывание, и меня потащили к директору. Наш громовержец находился в заоблачной дали Олимпа, подступы которого ревностно охранялись завучем, секретаршей, канцеляристами, классными руководителями, комсоргом и прочей на разных ступенях иерархии находящейся и доблестно трудящейся на ниве просвещения саранчой. И вот я предстал перед ним, не по своей воле прорвавшись через весь этот кордон. Свою обличительную речь он довел до высокой патетической ноты, задавая попеременно то мне, то себе вопрос, как же это я мог так оскорбить советскую школу – тем более, что еще на заре советской власти именно в нашу 56-ю московскую школу заложил какой-то камень неизвестный мне «бедный Демьян»...

Мое инакомыслие ограничивалось, конечно, чисто бытовым уровнем и было унаследовано мной в придачу к национальности. Кстати, о существовании каких-то «евреев», сиречь жидов, я знал с самого раннего детства из разговоров на улице, в гостях и дома, где при этом понижали голос и переходили на какой-то совсем уже шпионский язык, называя их «ex nostris», но до шести и не подозревал, что гонимые, презираемые и чуждые всем «они» – это я и есть. Это был удар. Я как-то сразу почувствовал, что никогда мне уже не быть, как все, что мне это клеймо избранности и изгнанности – на всю жизнь, как хвост: прячь ни прячь, а волочить придется!..

Настоящее инакомыслие я подцепил, когда мне стукнуло двенадцать – время расцвета в нашей стране Самиздата и кагэбэшного ремесла. Моя сумасшедшая сеструха привела на мой день рождения очередного знакомого – художника и поэта Михаила Щепенко, ныне режиссера одного замечательного московского театра. У нее с подружкой Валею, в которую я был втайне от самого себя влюблен, только и было разговоров о какой-то его свежей поэме. Вероятно, я проявил уж очень настырное любопытство, потому что подружки не смогли от меня отделаться и посветили в свой секрет. Мне сказали, что я должен держать язык за зубами и что если кто об этой поэме узнает, нас всех расстреляют и посадят. Вблизи запретного плода царило радостное возбуждение. Эту поэму наши девушки-подпольщицы решили уничтожить, предварительно зашифровав. Шифровали летом, на даче, да таким чудовищно сложным шифром, что уже через пару месяцев никто б из нас не взялся его расшифровать: буквы по сложной схеме превращались в цифры, а те – в математические примеры, записываемые моим для отвода глаз корявым почерком в школьные тетради в клеточку...

Главным же было то, что мне тайком удалось поэму пролистать. Как известно, именно в этом возрасте со многими происходят те или иные душевные катастрофы, приоткрывающие бесконечно печальные и завораживающие бездны бытия и мощно подталкивающие судьбу вперед. Таким детонатором оказались для меня несколько строчек этой поэмы. Конечно, уже и до того я был довольно критично настроен к происходящему в стране, но что можно было *так* безжалостно и бесстрашно говорить о *Самом*, было для меня непостижимо. Нет, дело было не только в политике. Пелена спала с моих глаз, и пускай далеко не идеальный, но все же стабильный и счастливый мир, в котором я не сомневался и в котором еще не было по-настоящему ни страдания, ни смерти, покачнулся и уже никогда больше не приходил в равновесие.

## Пожри себя сам

Мерзляковское музыкальное училище – блаженное время, когда ты еще не студент, но уже и не школьник: разрешено практически все, а в случае чего можно прикинуться малолетним...

Внешне небогатая событиями, моя внутренняя жизнь совершала головокружительный скачки и неслась вперед, пронизанная интенсивными токами и лихорадкой общения, ненасытным поглощением людей, музыки, книг. Тут я нашел своих главных единомышленников, тут я глупо влюблялся, терпя одно поражение за другим, тут я доводил себя патологическим самокопанием до шизофренически-кафкианских галлюцинаций, испытывая то безнадежное одиночество, которое ведал только Бог в моих видениях. Я чувствовал себя тупой, бесчувственной, вечно анализирующей скотиной – даже перед гробом близких; я терялся в дурных бесконечностях рефлексии, как в камере зеркальных пыток.

Экзистенциальный выбор представлялся мне болезненной альтернативой между жизненным благополучием и служением музам: в моем романтическом пылу я был одержим идеей, что хорошему человеку должно быть обязательно плохо. Что не только "быть знаменитым некрасиво", но и быть счастливым в нашем трагическом мире – не менее пошло и недостойно. Что, выбрав искусство, я обрекаю себя на вечные страдания и на проклятье.

Этим страданием я и упивался, и вдруг стал писать более или менее приличную музыку, а свои мысли, выпренные и экзальтированные, начал записывать в дневник.

*... тоска одиночества всегда сопровождается желанием образумить все человечество...  
... выражение "все на одно лицо" неверно: там, где есть живое лицо, не может быть повторений; вернее было бы говорить "все на одну безликость"..  
... неужто композитор – тот, кто нотные знаки превращает в денежные?..  
... глупо после очередного зигзага судьбы пытаться восстановить свой путь с точки сбоя: нужно принять сегодняшнее положение как единственно возможное и начинать борьбу отсюда: может быть, это и значит – доверять судьбе?..  
... нельзя позволять препятствиям заслонять живое ощущение жизни, надо постараться жить не настоящим, и даже не прошлым и не будущим, а всей жизнью сразу – той, что была до тебя и будет после... (ах, если б у меня достало мужества руководствоваться собственными стоическими рецептами!..)*

Учеба была интенсивной, но не слишком изматывающей, и оставляла мне много свободного времени для всевозможных страданий, самопознания, саморазрушения и самопожирания. Если я и не пожрал себя без остатка, то заслуга в этом принадлежит только моим верным друзьям.

К мысли, что быть счастливым в нашем трагикомичном мире – совсем не так уж пошло и недостойно, а, может, как раз наоборот – нетривиально, – я пришел лишь много позже...

## Свежие бекары

Учителя были разные, часто никчемные, но иногда и такие, перед которыми мы испытывали трепет искреннего преклонения. Функционеров же – директора, завуча и гэбэшника Бориса Жарова – мы позорно боялись. Но как же выцветают и уменьшаются в размерах эти вахтеры по призванию, эти церберы, спустя всего несколько лет после выпуска! Приходишь посмотреть на родное пепелище – боже, этих карликовых пинчеров мы боялись!..

Московское студенчество называло нашу «мерзляковку» не иначе как «физкультурным училищем с музыкальным уклоном». Засилье таких предметов, как физкультура, ГРОБ (гражданская оборона) и НВП обуславливалось тем, что это была

вотчина Бориса Жарова, устрашающего вида боксера с разбитой бульдожьей мордой, по слухам гэбэшника, перед которым даже наша железная леди-директриса ходила на цыпочках.

НВП (начальную военную подготовку) преподавал В.Н.П. – Виктор Николаевич Попов, он же Викникпоп. Как-то раз, чтобы избежать контрольной, мы его в очередной раз «разговорили», непрерывно задавая фальшиво-заинтересованные вопросы о славном боевом прошлом — а он, наивный, разоткровенничался и признался, что он – контуженный, и что контузию свою получил не на фронте: просто его товарищи-танкисты как-то в шутку (видимо, от большой любви) опустили ему на голову дуло танка.

Порядки в нашем учебном заведении были строгие, почти что армейские. Наша бесценная, директриса Лариса Леонидовна Артынова, с душой и телом старой девы, люто ненавидимая студентками и прозванная «белый верх – черный низ», была помешана на запретах, относящихся к женской половине. Многие девочки подгибали длинные юбки и при первой же опасности одергивали их снова, ибо короткие были для нашего столпа нравственности атрибутом проституток. Не меньшему порицанию подвергались и брюки, хотя я до сих пор никак не могу взять в толк, какие развратные фантазии посещали ее при виде девушек в брюках.

Мужскую же половину карал Викникпоп. Хватая за волосы, будто собираясь скальпировать, он измерял их длину, и если она превышала три сантиметра, произносилась двусмысленная сентенция «головки у мальчиков должны быть убранными», и несчастного отправляли к парикмахеру. Если же он замечал, что пиджак жертвы застегнут не на все пуговицы, то подходил с застывшей идиотической улыбкой, мелко потряхивая головой, и здоровался, выпучив глаза. Сам же в это время крепко хватал одну из пуговиц и вырывал ее с мясом. Затем пуговица торжественно вручалась нарушителю порядка с пожеланием всего хорошего.

Он говорил на особом, отличающем военных, языке: «об этом я еще коснусь», «о них мы с вами еще вернемся», «прошу пожалуйста записать». Викникпоп был непревзойденным мастером слова: «...На расстоянии более пятисот метров вы уже не отличите женщину от девушки», «...Граната у вас в кармане может наделать делов!», «...Если часовым произведен выстрел, то пулю в том или ином месте списывают»... Он сообщал нам, что на курсах радисток девочек будут «учить входить в связь», и перед всем классом наставлял меня, отправляя с поручением позвонить в автомастерскую: «Спросишь девушку – вежливо! – как у нее там дела с передним бампером». Сдается мне, под видом непроницаемой тупости он и впрямь шутил. Его недолюбливали, отпуская по поводу его контузии злые шутки, а он был всего лишь беззлобным клоуном, под команды которого мы маршировали в крохотном училищном дворе, намеренно сбиваясь с ноги, ломая кусты, шлепая по лужам и врезаясь в стены...

Нашу студенческую столовую украшал натюрморт в стиле общепитовского реализма. Увы, подаваемые блюда до изображенных на картине немного не дотягивали. Рядом висел призыв: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори!» Хотя никто и не собирался давать хлеб бесплатно. Однажды, ища предлог сбежать с урока по психологии педагогики (или «психологии и педагогики?»), мы объявили нашему совершенно малохольному учителю, что в нашу столовую доставили свежие бекары, и, пока они не испортились, нужно их срочно разгрузить. Чувствуя какой-то подвох и в то же время несомненную морфологическую родственность бекасам, тонкий психолог отпустил нас, так и не решившись спросить о происхождении этого экзотического продукта.

Вообще это было чудное время. Не припомню, чтоб мне когда-нибудь еще хотелось учиться – ни до, ни после. А тогда, пожалуй, хотелось. Или это только сейчас так кажется? Но большую часть педагогов мы любили, все им прощали и судили не строго: не хватало ни яда, ни опыта злости. Теперь понимаешь, какую откровенную чушь некоторые из них несли! К примеру, сыграл ты педагогу, а он говорит: «Неплохо! Но, знаешь, где-то тут надо было

бы еще чуточку поискать!» Или так: «Нет, ну какой же это Бах! Это у тебя никакой не Бах... Иди домой и занимайся!»

Хотя нами еще не был осознан сформулированный кем-то позже принцип «Руки прочь от искусства!»: в прошлом даже великие профессора консерватории занимались «рукой», потом им надоело, они стали обучать только "искусству", а рукой обязали заниматься в училищах. Но потом училищным педагогам это тоже надоело, и они переложили эту обязанность на школы (как раз в такое время я и учился). А нынче и школам надоело – и теперь все занимаются одним искусством, но уже без рук...

Моему шефу по специальности, кажется, тоже было на все начихать, но он, по крайней мере, не был занудой. Во время урока он любил сидеть на батарее отопления и, по его собственному выражению, «жарить яичницу». Время от времени он возгорался и ставил ученикам довольно точные диагнозы. Так, одной невероятно крепко сбитой студентке, в очередной раз прогромыхавшей что-то на сотрясающемся рояле, он ехидно заявил, что, хотя любой рояль имеет свой предел громкости, она уже давно играет за этим пределом.

Педагог по гармонии тоже был шутник. Студентку, кое-как сыгравшую модуляцию в особо далекую тональность и на движении в обратную сторону запнувшуюся, он умолял, пав на одно колено: «Вернись, я все прощу!» А когда играющий секвенцию студент все более сдвигался к басам и никак не мог перейти к заключению, он кричал нам: «Скорее несите другой рояль! Этот уже кончается!..»

Нам преподавал и легендарный Виктор Палыч Фраенов, знаток полифонии. Он никогда не расставался с восточной тубетейкой, как еврей со своей кипой. Даже зимой, приходя в меховой шапке, он умудрялся молниеносно и тайком водрузить тубетейку на почетное место. Все студенты гадали, какая же тайна за этим скрывается – безобразный шрам, страшный знак на лысом черепе или уши Мидаса? Даже строили планы по срыванию всяческих покровов, однако уважение к нему было слишком велико. Как и большинство настоящих специалистов, он проводил лекции с блистательной легкостью и юмором. Однажды во время одной из таких лекций мы услышали звуки рояля, доносящиеся из соседнего класса – играли Гимн Советского Союза. Прислушавшись, Фраенов заявил после короткой паузы: «Разрешаю вам не вставать. Гимн играют в неверной тональности!»

В те годы, которые потом были названы «годами застоя», когда с телевидения полностью исчезла даже такая безобидная передача, как КВН, – мы умудрились в нашем училище снова возродить этот жанр. В нашей команде участвовали те, которые потом создали «Веселых ребят», снова заразивших телеэфир студенческим юмором. Готовились мы с жаром, а штабом и местом встреч стала арбатская квартира моих родителей.

Такой набитый битком зал, как на нашем КВНе, наше училище видело до этого лишь один раз: когда живущий в доме напротив Смоктуновский пришел рассказать о себе и своей работе. Тогда он внезапно припомнил, как, готовясь к роли душевнобольного Гамлета, он посещал в поисках источника вдохновения советские психиатрические клиники, где нашел психически здоровых, но сломленных людей, без всякой надежды на свободу. Это изменило его видение своей актерской задачи: стали не нужны ни «мировая скорбь», ни душевнобольной герой – достаточно было лишь вспомнить глаза одного из этих заключенных... Наша директриса так и не посмела тогда перед четырьмястами студентами прервать актера...

А после блистательной победы в КВН нашей пианистической команды (борьба была нешуточная и длилась четыре часа, по полной программе – с приветствием, разминкой, домашним заданием и даже выездным конкурсом) вызывает меня директриса – «крыска Лариска», несгибаемый страж нравственности и порядка – и начинает прорабатывать: как же мы могли так посмеяться над рабочим классом? Надо сказать, в те времена мы все настолько боялись ляпнуть что-либо политически некорректное, что цензуровали себя похлестче любого редактора. В чем же она учуяла подвох? Тут я припоминаю, что в одной из сцен я изображал биндюжника одесского порта, а мой артистичный друг Женя Каплан

брал у меня интервью. Мне становится смешно, но я удерживаю себя в руках и пытаюсь возражать – какой, мол, биндюжники рабочий класс! Но директриса игнорирует мое замечание и продолжает наращивать драматизм и металл в голосе, пытаюсь мне обрисовать размеры нашего преступления: «А знаешь ли ты, что украшающий наш концертный зал орган куплен для училища теми самыми рабочими, над которыми вы так бессовестно посмеялись!?» Я живо представил себе бандитского вида портовых биндюжников, покупающих вскладчину «на троих» орган...

Увы, в настоящих безобразиях, происходящих в общежитии, помещавшемся в стареньком полуразвалившемся домике в маленьком переулке позади Большого театра, я, маменькин сынок, участия не принимал, жадно питаюсь лишь слухами о пьяных оргиях и прочих веселящих душу утехах художественной молодежи. Музыкантам, имеющим постоянно дело с тонкой, почти неосязаемой материей музыки и с ее нестерпимой красотой, просто необходим другой полюс! Поэтому-то постоянно и летела из окон общежития в закрытый дворик пустая стеклотара, а своеобразным гимническим апофеозом одной такой предновогодней оргии стал торжественный выброс с четвертого этажа унитаза – ровно с двенадцатым ударом! – прямо на всю эту кучу бутылок.

### **Иван Каплан**

Моего первого друга я приобрел в первый же день учебы в «мерзляковке». Я знал этого мальчика еще по нашей музыкальной школе. Его педагог – худая и плоская как вобла старорежимная дама по фамилии Чертова, высокая и строгая в своем неизменном в черном платье – внушала всем нам трепет: по достоверным слухам, она лупила учеников линейкой по пальцам за малейшую ошибку. Слышал я на одном зачете, как он играл ненавистные мне гаммы – так артистично, как будто бы то были не сухие технические «долбилки», а вальсы Шопена. Его волнистые волосы и красивый поэтичный профиль укрепляли меня в ужасном подозрении, что он вундеркинд.

Я всегда удивлялся способности всех антисемитов сразу распознавать своего врага, также как и моей неспособности узнавать людей моей национальности – такая принадлежность сама по себе не делала ни одного человека для меня интереснее. Поэтому я тогда не придавал ни малейшего значения ни яркой внешности Жени Каплана, ни его фамилии. На мой вопрос, как зовут отца, он, не моргнув глазом, ответил просто: Иван. Мне это показалось странным: даже для моей национальной глухоты сочетание «Иван Каплан» звучало несколько противоестественно. Прошла неделя, пока до меня дошло, что Женька просто подшутил.

На самом деле его отца звали Арнольд, и был он довольно известным пианистом. Мы любили слушать его «рассказы о великих» – например, о приезде в Москву никому тогда не известного Глена Гульда: было запланировано два концерта, и на первый набралось всего человек двадцать – в этот день какая-то знаменитость играла в другом зале. Представьте себе, как были потрясены эти двадцать его выступлением, если уже на следующий день на второй концерт Гульда ломилась толпа – они подняли на ноги весь город за один день!

Самыми же интересными были его рассказы о больших музыкантах, вынужденных выступать с обязательными шефскими концертами в российской глубинке. Вот пара таких историй:

...Владимир В. послан оплодотворить рабоче-крестьянскую публику романтической музыкой Шопена – в каком-то кошмарном бараке, на давно превратившемся в дрова пианино и, естественно, без репетиции. Несмотря на совершенно неподходящую обстановку, музыкант на сцене – в строгом фраке. Отчаянно борясь с чудовищным инструментом, он извлекает из него чарующие звуки ноктюрна... Вдруг, растревоженные Шопеном, на его пальцы из-под клавиш начинают наползать тараканы, их все пребывает, они стремятся заползти в рукава фрака... он играет еще романтичнее и, пытаюсь не нарушить течение музыки, всё стряхивает, стряхивает...

... В похожем сибирском бараке пронизывающий холод, пальцы леденеют. А на долю А.К. выпадают этюды Шопена. Вместо пианино – один остов со струнами. Видимо, остальное давно пошло на растопку. Первого мимолетного прикосновения перед концертом достаточно, чтобы убедиться: на этом инструменте играть нельзя: добрая половина клавиш западает. Ничего страшного, – заявляет распорядитель, – эта проблема нам знакома. Есть оригинальное решение: некий Петрович будет сидеть рядышком и по мере надобности выбивать клавиши снизу. Музыкант волнуется: видно, до распорядителя не дошло, в программе – виртуозные этюды! Это ничего, Петрович у нас опытный, – успокаивает распорядитель музыканта... Выхода нет – надо играть. И он играет... А Петрович с той же бешеной скоростью, не мешкая и ничуть не мешая, вышибает клавиши снизу! Букет цветов, полученный им от благодарных устроителей, Арнольд Каплан, конечно же, отдает этому безвестному мастеру – виртуозу-вышибале...

Женька часто подумывал о том, что в серьезную профессиональную музыку его занесло случайно, дуновением отца. На любой сцене как рыба в воде, он мечтал театре. Элегантный, артистичный, немного жалкий своей худобой и небольшим ростом, с обаянием Чарли Чаплина и насквозь американский по духу, он будто сошел с экрана немого кино 30-ых. Он пародировал дикторов, изобретал сходу новые смешные радиорепортажи (да вот хоть экскурсию по зоопарку – с постепенным исчезновением всех самых аппетитных посетителей!), пел песни «из-за бугра», аккомпанируя себе и неся милую абракадабру на любом языке мира. Он был прирожденным кабареистом – но, увы, этот жанр в нашей стране не процветал.

Свою мечту – уехать в Америку – он с трудом, но все-таки осуществил. Как и все мы, тянет он там свою проклятую лямку, аккомпанирует балету, надрывается с бездарными учениками и лечит кибордной музыкой психбольных. Вырваться на сцену он так и не отважился...

## Самозванец

Миша материализовался на нашем втором курсе. Вообще-то он поступил на первый курс, как все нормальные люди, но, как уже закончивший девятый класс, добился-таки возможности осчастливить нас своим присутствием на уроках истории и литературы. Слухи о нем ходили самые невероятные: что к инструменту он подошел в первый раз, когда ему было двенадцать, что брал потом частные уроки. И вот теперь вломился в этот храм музыки, сложенный по кирпичику поколениями музыкантов, который мы штурмовали, имея за плечами годы изнурительных усилий! Да еще залез одной ногой на второй курс. Какая жестокая несправедливость!.. А когда поползли слухи, что на зачете он собирается играть «Итальянский концерт» Баха, как бы бросая вызов не только всем нам, но и самому несравненному Глену Гульд, все ошетинились и готовы были одарить этого самозванца, этого новоиспеченного Моцарта всеми «дарами Изоры» из маленькой, но удаленной трагедии одноименного Пушкина. Его внешний вид и его поведение были нестерпимы. От него просто за версту разило неблагонадежностью – с его облезшей кожаной курткой, длинными, сосулеобразно свисающими пейсами и граничащей с хиппарством неряшливостью. А смех душевнобольного жеребца, которым он раздражался при малейшей возможности, был вообще за границей всяких приличий.

Короче говоря, у него были все предпосылки стать моим лучшим другом.

Любовь Миша закрутил с самой непопулярной девочкой нашего курса – и тут отличился! Женечка Рабкина перевелась из Центральной музыкальной школы, выходцев которой мы, «мерзляковцы», с высоты своего вольного студенчества презирали как инфантильных и «не нюхавших жизни» зубрилок. Стоило учителю уронить мелок, как она, сшибая все на своем пути, мчалась через весь класс, чтобы его поднять, так что в конце концов они сталкивались лбами. На занятиях по оказанию первой медицинской помощи она согласилась послужить объектом для демонстрации дыхания «рот в рот» с гнусным

старикашкой-медиком, который аккуратненько разложил ее необъятное тело на столе, накрыв жеманный ротик марлечкой. Ума не приложу, с чего это ее хищная мамаша, помогавшая дочке расставлять капканы, могла в Мише увидеть жениха – он был беден, как церковная крыса, и одержим, как иудейский пророк, и так же идеально, как и они, подходил на роль мужа для ее корыстной дочки.

Я не вмешивался, пока он, наконец, сам не пробудился и не решил со мной обсудить западню, в которую ненароком угодил. С этого момента и начались нескончаемые беседы – о нас, о музыке, о жизни, всегда бескомпромиссно честные и открытые, с разборками и ссорами, но и с постоянным сознанием того, что нам друг от друга никогда не отделаться и что нам здорово повезло. Мы учились друг у друга и меняли себя, пока не съели до крупинки полагавшийся нам пуд соли, а потом попросили добавки...

Миша Аркадьев был одержим тремя вещами: музыкой, философией и собой. Все остальное выпадало более или менее из его поля зрения (девушки к выпадавшим не относились, ибо они не только включались в его интерес к себе, но и выступали в амплуа муз, слушательниц, поклонниц и верных помощниц). Для меня же первые два аспекта с лихвой искупали все его причуды.

О нашей нежной тридцатилетней войне-дружбе можно было бы слагать саги и сонеты, писать социологические исследования и философские трактаты, снимать мыльные оперы, эротические комедии и психотриллеры. Но это уже забота наших потомков. Мне же придется ограничиться несколькими штрихами.

Придя в первый раз ко мне домой и познакомившись с моими родителями, мой друг сразу освоился: прогромыхал пару часов на рояле, перерыл все книги и ноты, съел обед с добавкой и так и остался на кухне, где вся семья смотрела какую-то юмористическую передачу. Тут-то моим домашним и довелось в первый раз пережить незабываемый Мишин смех. Он же умудрился еще поставить ногу на старый чайник, стоявший под табуреткой, и в такт раскатам своего молодого безудержного ржания методично избивать его ногой. Собственно, сам я не придал этому никакого значения, но мой отец, когда мы остались одни, в крайнем раздражении сказал: «Я совершенно не мог следить за передачей! Я все время думал – если еще раз ударит, я скажу!.. если он в следующий раз ударит – я ему точно скажу!.. неужели он посмеет еще раз?.. нет, теперь точно скажу!» Но так и не сказал...

Для нашей мягкотелой семьи, с ее фальшиво-старомодными представлениями о приличии и вежливости, невинный Миша стал хронической чумой. Он искренне не мог уразуметь, почему ему просто-напросто откровенно не укажут на дверь или не заколотят перед ним крышку рояля – вместо того, чтобы копить свое раздражение, а потом исходить стонами и проклятиями...

Письмо Женьки из Юрмалы, где он отдыхал летом, написано в то же время:

Сегодня у меня выходной день выдался, а потому и пишу тебе, хотя и с некоторым опозданием. Так слушай же мою одиссею!

Вскоре после моего приезда сюда получил я письмо от НЕГО: можно ли снять дачу, почем, какая погода. Я ответил: нельзя, дорого, плохая. Думал – пронесло. Как я жестоко просчитался!

Вечер 24 июня 1975 года надолго, если не навсегда, врежется в мою память. До этого трагического дня я жил и отдыхал, занимаясь иногда час в день – словом, оправдывал народную мудрость “делу время – потехе час“. Но ближе к делу.

В тот вечер я читал детектив, как вдруг скрипнула калитка, и по лестнице поднялся Миша. Он прошел, не заметив меня. У меня от радости, как у Крылова, в зубу дыханье сперло, и я решил скрыться в лесу у партизан. Но я их не нашел, и поздно вечером окольными тропами вернулся домой, где и был схвачен в дружеские объятия. Я понял, что это конец. Татаро-аркадьевское нашествие черной тучей нависло над родной хатой. В тот же вечер, после его ухода, был сформирован подпольный комитет по спасению угнетенного меня, во главе которого стал мой отец. Первое время враг наступал на всех фронтах: я 5 (пять!) раз был на концертах (правда, один был сносный – Немецкий

реквием Брамса в Домском соборе: и стоит дешево, и одеваться можно нехорошо) и два раза играл в 4 руки, которые он привез с собой. Он ел обеды и барабанил по инструменту. Но мой отец дал ему понять, что звуки, им издаваемые – неприличны, а мама стала морить голодом. Я же дни напролет держал его на солнце, а затем кидал в морскую пучину. Сейчас он находится в сильно потрепанном состоянии, и сегодня в первый раз не пришел. Разум отказывается верить этому!..

А вот что мне, по совсем другому поводу, писал Мишка:

Все-таки, меня вынести в огромном количестве нельзя, особенно с моей привычкой вываливать на человека сразу массу эмоциональной информации и неожиданных действий. А поверить сразу мало кто может...

К моей чести сказать – я поверил сразу. Ныл, стонал, проклинал, жрал соль пудами – но верил.

### Поэма экстаза

В зимние каникулы мой отец выбивал нам путевки в дом отдыха журналистов – оплачиваешь, что съел, да койка рупь в день. Выходило дешево. Мы брали лыжи и отправлялись в этот северный рай на полдороги к Зеленограду, в царство исполинских сказочных елок с четырехметровыми лапами, покрытыми снегом. Место так и называлось – Елино. Было холодно, но сухо и безветренно, совсем не так, как в городе, и мы были почему-то уверены, что именно такой климат и называется «швейцарским». Можно было спокойно дойти до ресторанчика, не надевая пальто, даже если температура была ниже минус двадцати.

Первый раз мы отправились втроем – я, Женя и наш новоприобретенный друг Миша, а второй раз мы разбавили нашу строгую компанию двумя девочками. Обеих звали Ирами, и в этом можно было бы усмотреть некую подсказку судьбы, даже некое предостережение, ибо нам всем троим, в конце концов, суждено было жениться, хоть и на совсем других, но Ирах, а мне – так целых два раза...

Боже, как несовременны во всех смыслах мы были – инфантильны, целомудренны, наивны, с пагубной склонностью к глубокому философствованию на мелких местах! Но разве может быть мелко, если тянет пофилософствовать?! Нам нравилось все преувеличивать, во всем видеть намеки, символы и аллегории, нам нравилось нагнетать пафос и делать из мух слонов, так что скоро уже целые стада этих величественных животных бродили вокруг нас.

Поэтому никто и не вздумал зубоскалить, когда в шутку нацарапанной одной из девочек записке «в моей смерти прошу никого не винить» Миша придавал такое же смертельно-серьезное значение, какой придавалось прорицаниям оракула в древнегреческой трагедии, и мы всё рвали и рвали на себе волосы и никак не могли решить, что же нам делать с этой запиской. Один Бог знает, почему мы ее не сожгли, а вместо этого отправились в лесную глушь и долго бродили, пока не забрели к незамерзающей речке и не бросили в нее этот проклятый клочок бумаги, предварительно разорвав на куски, в то же время прекрасно осознавая всю бесполезность наших действий и бессилие перед роком: ведь записка-то все равно была уже написана и занесена в Книгу Судеб. К слову сказать: самой девочке, стоявшей всеми четырьмя на земле, было совершенно непонятно, из-за чего весь этот сыр-бор.

А ночами мы с Мишей не могли заснуть, и все бродили, будто неся какую-то мистическую вахту, вокруг огромного бильярда по кругу, я – не меняя направления, а Миша то почасовой, то против, и даже в этом мы усматривали намек, и говорили о нашей зависимости от обстоятельств, людей и мнений, о том, сможем ли вырваться из этого плена, о внутренней свободе и вере, о противостоянии и выборе Пути...

(Рассказывая все это, у меня нет ни малейшего желания возвысить меня теперешнего надо мной тогдашним, глянуть свысока и поёрничать. Люди, пережившие нечто похожее, поймут меня, а большего мне и не надо. Что ж – обломки первобытного состояния и ощущения единения с миром, где каждый предмет или жест имеет свое потаенное значение, призывающее его разгадать, где каждое слово отзывается эхом во всем мироздании и меняет его состав, а с другой стороны – декадентская рефлексия и рафинированные интеллектуальные выверты эпохи заката «заката Европы»... Но не смотреть же, право, на это с высоты моего сегодняшнего внушительного общественного положения, трезвого прагматизма, солидной половозрелости и вполне добропорядочных бытовых проблем!.. Нет, уж лучше потешать публику своей неоромантической серьезностью!)

А еще мы ставили над собой добровольные эксперименты во славу науки, и один раз постановили выпить водки, закусив ее пивом, а потом добавить красное. В ходе эксперимента мы с Мишей, еще не достигнув желаемого градуса экзальтации, решили отправить ту трезвую во всех жизненных ситуациях девочку и ставшего уже совсем безопасным Женю спать в соседний номер, а сами с другой, более вдохновляющей нас Ирой, продолжить. Достигнув своего предела, она отправилась на поиски душевой и встала под холодный душ во всей одежде, так что обратно ей пришлось пройти через весь корпус голяком, завернувшись в принесенное мной одеяло. Тут Мишку потянуло на поэзию, и он стал декламировать стихи Гумилева, а я, лежа у него на груди и закрыв глаза, узрел в этот момент Бога – видно, особая смесь алкогольных паров вызвала у меня религиозный экстаз. Думаю, это был Христос, и у него было мое лицо, но с бородой – той, что я сейчас и ношу в несколько урезанном варианте. Воистину, у каждого из нас – свой Бог...

Вот именно в таком положении – голая, слегка спелёнутая шерстяным одеялом бездыханная мумия на одной кровати; мы с Мишей, без всяких признаков сознания и раскаяния, на другой – и застала нас моя мать, неожиданно приехав покататься на лыжах и войдя в наш номер ранним субботним утром. С трудом оторвать свою голову от Мишиной груди и различить расплывчатые очертания моей матери, стоящей среди груды пустой стеклотары разного калибра – в ту минуту это было для меня экстазом посильнее, чем явление Христа минувшей ночью, и уж во всяком случае, нечто куда более непостижимое... На самом же деле, о ее приезде мы договорились заранее, но вспомнилось об этом не сразу. К чести моей матери, она не дрогнула ни одним мускулом. Нет, она не сказала так, всплеснув руками: это ж я, мать твоя родная! да что же это они с тобой сделали, сыночек ты мой!.. Она вообще не проронила по этому поводу ни одного замечания и никогда об этом случае не вспоминала. Но на лыжи она нас все-таки поставила, как мы ни брыкались. Такой замысловатой лыжни, как в тот раз, я еще никогда за собой не оставлял...

А потом срок путевки истек, настало время уезжать. Примириться с этим мы никак не могли. Мы так горячо убеждали директора, что он плюнул и согласился предоставить нам на три дня захлавленную и запыленную террасу с огромными окнами и без всякого отопления. Снаружи был мороз минус тридцать. Мы согласились. Вытерли кое-как пыль, выбросили хлам, нашли штук двадцать одеял и составили вместе все кровати.

Ей-богу, снаружи казалось гораздо теплее! Внутри приходилось все время подогревать себя сомнительного качества портвейном и тяжелозвонким скаканьем «под музыку Вивальди».

Стук пишущей машинки, отчетливо доносившейся из соседней с террасой комнаты, был нам постоянным укором. Представьте себе, этот плешивый пожилой журналист, похожий на Евстигнеева и прозванный нами «профессор Плейшнер», приехал в Дом творчества действительно творить! Соседству он был явно не рад и при встрече метал яростные взгляды. Но что тут попишешь, если холод не давал нам спуска, и соблюдать приличия не было решительно никакой возможности...

А как раз в это время нагрянули с дружеским визитом еще двое наших КВНщиков. И тут, как говорится в анекдоте про поручика Ржевского, началось!..

Следующим утром лежим мы вперемежку – все семеро козлятушек рядком, под двадцатью одеялами, отсыпаемся и отогреваемся. Стучат. Какого серого волка там носит в такую рань? Женька, как самый сознательный, идет открывать. И тут как понес скрипучий старческий голос – что ж это мы, такие сякие, всякие безобразия безобразничаем и бесчинства бесчинствуем! А потом и знакомая лысина показывается. Затаились. Женька один на один с разъяренным профессором. От него нас заслоняет приоткрытая дверь. И тут, не прекращая ругани, профессор поворачивает голову... и замолкает на полуслове, узрев свальный грех содомский – и где! за стеной его рабочей комнаты! На родном Парнасе!.. Смешавшись, лепеча извинения и не в силах отвести взгляда, он пятится прочь и тихо прикрывает за собой дверь...

А через несколько лет точно так же раздастся стук в другую дверь, и точно так же распахнув ее, Женька видит снова профессора Плейшнера, только в этот раз приходится онеметь Женьке: ведь это дверь его собственной квартиры! Профессор, оказывается, был старинным знакомым его родителей...

\* \* \*

Три товарища; три мушкетера; три грации, наконец! – так мы и дружили. А потом наши с Женей орбиты стали расходиться все дальше, а с Мишей сходиться все ближе.

Вот что он мне пишет через год:

Genio, мой дружище!

Почувствовал необходимость написать тебе. Который раз думаю о тебе и о наших с тобой отношениях. Сейчас мне тебя недостает. Но это не так важно. Важно то, что ты есть на этой грешной земле, и Господь имеет полное право удовлетворенно сказать: «это хорошо!»

На меня сейчас нашел один из моих приступов дружеской нежности, которых ты, вероятно, втайне побаиваешься. Не знаю как, почему, за какие заслуги мы нашли друг друга. Вернее знаю, но об этом лучше скромно молчать. У меня есть внутреннее убеждение – вернее, сознание того, что нам с тобой, вместе или порознь, суждено многое сделать... Необходимость в таких людях, как мы, назрела. И не нам с тобой скромно опускать глазки! Человечество вошло в полосу этического голода. Мы из тех, которые должны хоть частично утолить его. Нам нельзя терять друг друга – ты отдаешь себе в этом отчет? И нам нельзя терять самих себя. Какими бы материальными приобретениями или потерями это не грозило – мы должны быть честными до конца. Необходимо помнить, что достаточно продаться один раз, что бы душа погибла навсегда. Что мне об этом тебе говорить?..

Не вздумай пытаться ответить мне в том же тоне. Не чувствуй себя передо мной в долгу за мою откровенность. Мне свойственно быть женственным в своих чувствах к людям и не скрывать этого.

Ты не таков, и прекрасно. Я верю тебе и без высоких слов и ответной откровенности...

После училища мы с Мишей не на шутку занялись философскими изысканиями. Как некогда с моим школьным другом мы углублялись в тайны математики, так сейчас мы отважились на универсальную мета-теорию, «розу философских ветров», включающую в себя, не больше не меньше, как все возможные философские системы.

Каждый из нас отыскал-таки свой философский камень. Я не только узнал ответы на все «проклятые» вопросы, я узнал нечто гораздо большее – что никаких ответов нет.

Я выбрался из катакомб своих мозговых извилин на божий свет и понял, что я его люблю больше, чем эти катакомбы. Я стал доверять чувству – обманываться и снова доверять.

И я навсегда забросил всякое теоретизирование: впереди ждала жизнь.

## «И вот заведение...»

При попытке прорваться на фортепианный факультет консерватории меня остановили на самых подступах: провалили на последнем экзамене по истории СССР – я не знал, каков процент черноземных земель. Оказалось, намного меньше, чем нам всем хотелось бы! Как выяснилось впоследствии, родители моего друга Женьки раздобыли вопросы вступительных билетов, но он поступил мудро – промолчал и поступил. Я же, чтобы как-то переждать год и не угодить в армию, подался в одно Богом забытое заведение – музыкальный факультет педагогического института – имени кого бы вы думали? Ленина! После первого же посещения этого заведения я схватил воспаление легких и хворал все время, пока там учился.

Входя в эту обитель муз, вы попадали в холодное и мрачное казарменное здание с уходящими за горизонтом коридорами. Надо отдать должное архитектору – этот склеп прекрасно подходил к царившей здесь мертвечине. Тут учили правильно рисовать скрипичный ключ, а тот, кому это художество не давалось, должен был часами переписывать все заново; тут были заведены «красные дни», в которые проболевший должен был сдавать весь пройденный материал, и не выборочно, а полностью; тут всему учили наоборот, а на законное возмущение отвечали: «там у вас была своя теория музыки, а у нас здесь – своя!» Помимо психически тяжело больного преподавателя психологии, будущие учителя музыки получали в нагрузку обязательный курс физиологии, во время которого должны были препарировать спинальную лягушку и глаз быка – видимо, для того, чтобы вернее определять болевые точки своих учеников (моя бесконечная хворь привела, увы, к ощутимым пробелам в этой области). Вместо истории музыки рассказывались скабрзные анекдоты из жизни великих, а история партии нашей КПСС читалась на верхнем этаже в бывшем спортзале, крыша которого немилосердно протекала, так что наша агитаторша вещала о достижениях народного хозяйства под мудрым партийным руководством, держа в руке зонтик и видя перед собой вместо студенческих лиц стройные ряды таких же зонтиков. Струи лившегося с потолка дождя придавали этому фарсу черты высокого аллегорического искусства в стиле Тарковского. К слову сказать, как только я покинул это заведение, потолок спортзала обрушился, будто его больше ничего не удерживало, после чего факультет навсегда перевели в другое здание...

Единственным светлым пятном в этом царстве абсурда была Алиса Кежерадзе, мой педагог по фортепиано – яркая, стройная, совершенного неопределенного возраста, с гордым лицом грузинской княжны и неизменным платком на высоко убранных волосах. Проходя мимо зеркала, она не могла удержаться от язвительного замечания в свой адрес и с сильным акцентом говорила: «Посмотри, я выгляжу так, как будто меня только что вынули из гроба и плохо помыли!» Она была замечательным педагогом. Я только никак не мог взять в толк, как такая птица залетела в это болото. У нее дома, в шикарной квартире в центре Москвы, где она часто занималась со своими учениками, я встречал еще никому не известного Иво Погорелича, ставшего вскоре после победы на конкурсе в Италии знаменитостью. Все лавры достались, естественно, Вере Горностаевой – его консерваторскому профессору, руководящей музыкальной мафией и по сей день и пригодной лишь на пробивание хорошеньким мальчикам дорогу наверх, обучая их всему, кроме пианизма. Этот мой единственный год в институте был последним и для Алисы. Оставив сына и мужа, важного функционера, она сбежала с Иво за границу. Он был моложе чуть ли не на два десятка, и я с недоверием относился к этому мезальянсу. Однако во время очередного конкурса Чайковского он не приехал – Алиса заболела, а без нее он играть не мог. Вскоре она умерла, совсем еще молодой, и он, говорят, с трудом пережил ее смерть... (Как-то недавно я попытался найти в Интернете какую-нибудь информацию об этой удивительной и так несправедливо забытой женщине – моем первом настоящем учителе. Оказалось, Иво действительно ее высоко ценит: во всех его биографиях названа одна только Алиса. Упоминание о Вере Горностаевой, как его учителя, нашел я только на одной интернетной странице – самой Веры Горностаевой...)

После мрачного года вот такой учебы, которую лучше было назвать исправительно-трудовыми работами, я предпринял вторую попытку штурма консерватории. На сей раз я решил делать то, что мне было действительно по душе, поступал на второй курс композиторского факультета, и все шло как по маслу. Глупейшее препятствие возникло с совершенно неожиданной стороны: институт отдавать мои документы отказался. Надо сказать, я там был не один такой хитрый. Вместе со мной околачивались там и двое моих товарищей по несчастью, также окончившие с отличием «Мерзляковское» училище и влипнувшие в ту же историю СССР при попытке поступления в консерваторию. Решив годик перекантоваться в педагогическом, мы все во время приема сильно слукавили, втерли очки, обвели вокруг пальца, проще говоря – вдохновенно соврали. На резонный вопрос: и что это потеряли в этой педагогической дыре коренные мерзляковцы, да еще с отличием, – мы били себя в грудь и божились, что консерватория нанесла нам несмыслимую обиду и что туда мы больше ни ногой, а в конкурирующую фирму – «Гнесинку» – нам и так дорога заказана. Так что в скромной работе на ниве народного просвещения мы навсегда видим свое истинное призвание... Вся эта ложь далась нам тем более легко, что вопрос-то был, собственно, риторическим – никто и не предполагал всерьез, что мы надолго задержимся. Однако, когда час пробил, руководство ударило в амбиции. Нас тыкали носом в нашу вынужденную ложь. В выданной нам по требованию комсомольской характеристике обличалось наше преступное двуличие. Декан орал, что нас, как приличных, впустили через дверь, а вылезаем мы как преступники – через окно! Сравнение было сильным. Мы должны были устыдиться, но почему-то не устыдились.

Нам мог помочь только один человек, и я пошел показывать ему свои работы. Тихон Хренников работал членом Верховного Совета, а по совместительству – композитором и профессором консерватории. Крепенький, розовенький, безобидный, всегда в отличном расположении духа, Тихон сразу начинал мирно похрапывать, как только студенты принимались демонстрировать ему свою музыку, но аккуратно к последнему аккорду неизменно пробуждался. Чувствовался солидный преподавательский опыт. Обронив «ну что ж, неплохо!», он милостиво позволял своим ассистентам доработать оставшуюся мелочь. Тут из всех уст начинала струиться благодатная патока. Впрочем, иного и не требовалось – большинство его студентов было всего лишь безнадежно бездарными карьеристами. Учитель в совершенстве владел «искусством принадлежать народу» и щедро обучал этому всех желающих. И как-то так выходило, что отсвет непогрешимости этого царька советского образца озарял и его жалких учеников, чьи композиции никто не решался критиковать даже на экзаменах.

Как бы там ни было, он благополучно проспал мои сочинения, а потом к нему на прием отправился мой отец и принес листок с несколькими нацарапанными словами: «Прослушал... нахожу вполне... поэтому считаю целесообразным...»

Скрежеща зубами, декан выдал нам документы – всем троим.

### **Альма мачеха**

Назовем это как угодно, хоть ностальгией – только не по месту, а по времени. Ведь если возвратиться в то же место, еще острее и болезненнее почувствуешь, что в отношении времени это трюк не пройдет: именно те места, с которыми связаны куски твоей жизни, становятся особенно чужими – их населяют теперь иные существа и иная реальность. Можно, конечно, побродить по консерватории, чтобы ощутить себя призрак. Все то, да не то: была альма матер – стала мачехой, как будто вся жизнь утекла куда-то. Молодые заматерели, старые сильно сдали и стали похожи на тени самих себя, другие умерли или разъехались. Неужели и в одну и ту же консерваторию нельзя войти дважды? А встреча со старыми знакомыми тут ничего не изменит: они выглядят, как поблекшие фото, проживают свою судьбу и расходятся все дальше, как разбегающиеся галактики...

Студенты же... бог их знает, чем они сейчас живут. И раньше-то большинство сокурсников оставалось чужими друг другу, что ж говорить теперь? я для них – марсианин. И связывает ли нас вообще эта благословенно-проклятая музыка? Они там сейчас, где я был некогда, и где от меня не осталось даже тени – да и такого, каким я был, больше нет. И если иногда тянет все-таки влезть на денек-другой в старую шкуру, то не затем ли, чтобы больше почувствовать, что она мне больше не по размеру? И все-таки хочется иногда хотя бы одним глазком взглянуть... но разве что только чужим: мой все равно наткнется на непроницаемые стены, протянутая рука пройдет насквозь, так ни с кем и ни с чем не встретившись... Какая же глупость эта расхожая мысль: мол, ясно, что умереть когда-нибудь придется, только вот жаль, что не увижу, как там все будет потом! Какая же это была бы чудовищная попытка – подсматривать за жизнью в глазок, без возможности даже постучаться в дверь...

## Служители муз

Удивительно и печально: пытаешься вызывать в памяти образы этих людей, моих главных учителей, с которыми общался в Консерватории не один год, таких близких и так много значащих, а припоминаешь дословно лишь одно-два высказывания, все остальное же – только аура, тепло нежности и благодарности, но – почти что совсем бессловесное...

Вот мой «шеф» – композитор Роман Семенович Леденев, тихий, флегматичный, с лицом умного, доброго и молчаливого дельфина; всегда слегка прочищающий горло перед тем, как что-нибудь сказать, словно пробуя, повинуется ли ему еще долго бывший без употребления голос; всегда опаздывающий – и почему-то всегда на кратное семи число минут; кристальный человек, почитаемый всеми без исключения, даже его врагами. Из тех идеальных педагогов, которые не навязывают себя и не продуцируют себе подобных. И будь перед ним ученик или коллега, как бы чужд не был ему почерк, замысел и метод работы, он слушал, вникал, принимал, и с безупречным вкусом критиковал, исходя из позиции самого оппонента. Лишь иногда позволял он себе «наставлять на путь истинный». Вот мой сокурсник показывает какое-то невообразимо тягостное желе, и Леденев осторожно спрашивает, не кажется ли ему, что это скушно и длинно. Юра заходит с козырей: «Так я ж, Роман Семеныч, так и задумывал!» И печально отвечает ему дельфин: «А не надо было, Юра, так задумывать...» Помню и его афористичный ответ на мой вопрос, отчего музыковеды с таким наслаждением копаются в довольно бездарной и вымороченной авангардной музыке: «Мертвое легче препарировать».

Мы были его первым выпуском – может, и не самым сильным, но эта атмосфера его класса больше никогда не повторялась. Это с нами он во время антиалкогольной кампании в забаррикадированном столами профессорском классе распивал после экзамена бутылку шампанского, радуясь как ребенок такому «чудовищному» нарушению правопорядка.

Он был другом легендарного Андрея Волконского, с которым вместе учился – последним отпрыском тех самых Болконских, рафинированным аристократом, что долго и безнадежно пытался ловить такси, чтобы проехать два квартала, основателем знаменитого ансамбля «Мадригал» и первым отечественным клависинистом, писавшим чудную музыку к детским фильмам и за свою авангардную ориентацию ошельмованным и исключенным из Союза композиторов, а вскоре и навсегда покинувшим Россию. Леденев говорил о друге редко и с большой горечью. И только однажды, на каком-то собрании, Леденев не выдержал упоминания имени Волконского из уст Хренникова – человека, с легкостью разрушившего чужую жизнь. Он выступил, бросив Председателю в лицо все, что накопилось за годы разлуки с другом. От тишайшего и скромнейшего Леденева этого никто не ожидал, и о его речи потом еще долго говорили. Но больше он не выступал никогда. Как сказал один наш общий знакомый: вулкан внезапно извергся и потух навсегда...

Мой замечательный педагог по инструментовке Юрий Буцко – глубоко религиозный и славянофильствующий, с пронзительными, горящими безумным огнем глазами, бородкой клинышком и развевающимися волосами – ходячий персонаж Достоевского,

напоминающий Раскольников, Князя Мышкина и Чёрта одновременно. О композиторской организации и большинстве ее членов он отзывался уничижительно, не принимая никакого участия в мышиной возне своих коллег. Как-то раз один чудаковатый вахтер Дома композиторов решил, уходя на пенсию, устроить там выставку своей диковинной коллекции: всю жизнь он собирал открытки, на которых композиторы царапали пару своих нот в качестве автографа. Перед самой выставкой он уговорил даже строптивного Буцко приложить свою руку. Тот умудрился и здесь высказать своим коллегам все, что он о них думает, процитировав вдобавок вместе с мелодией своей монооперы по гоголевским «Запискам сумасшедшего» и соответствующий текст: «Хриstopродавцы!!!»

Инструментовку он давал блистательно. Его оркестр был не абстракцией, а психологически тонким симбиозом живых музыкантов с их инструментами, каждого со своими пристрастиями и амбициями. Его иллюстрации врезались в память навсегда: «Ах, вот как! Литавры играют у Вас всю эту ритмическую канитель вместе с арфой! А Вы хорошо представили себе реальных лабухов? Эту рафинированную жеманную арфисточку, колышущуюся при каждом щипке? И грубого мужлана-литавриста, с каждой нотой пытающегося поймать своими волосатыми лапами ее покачивающуюся грудь?»

Я спросил Буцко, к какому педагогу по «общему фортепиано» мне стоит податься. «Конечно же, к Клячко!» Это «конечно» казалось преувеличением: имя мне совершенно ничего не говорило. Даже о его возрасте Буцко мне не мог сообщить ничего определенного: лет двадцать назад, в пору его студенчества, Илья Романович Клячко выглядел точно так же. Ну и ну... Так идти мне или не идти к этому ископаемому?

Все сомнения рассеялись после первого же урока. Блеснуть моим училищным дипломом пианиста, да еще с отличием, мне не удалось. Стало ясно, что он ни гроша не стоит, этот мой диплом «отличный от пианиста», что о легкой жизни я могу забыть и что придется переучиваться, начав чуть ли не с нуля. Но главное – рядом с этим маленьким, сторбленным и очень живым старичком я почувствовал себя наполовину разложившимся трупом, почти утратившим шанс воскреснуть.

Он излучал мягкий ровный свет. Я сразу догадался: он – Кречмар из «Доктора Фаустуса»! Позже я находил этому сравнению все новые и новые подтверждения. Разве станет музыкант музыканту пересказывать музыку словами, как это делал (вопрос – для чего?) Моцарт у Пушкина! Мановскому же Кречмару безоговорочно прощаешь подтекстовки к теме вариаций из 32-ой Бетховена – и «боль любви», и «дольный луг», и «так прощай»... И до сих пор меня мучает одна тайна Ильи Романовича. Как и многие педагоги, он все время подпевал, когда я играл, сообщая мне ту необходимую энергию, которая во время одиноких домашних попыток покидала меня без остатка. Подпевая, он невразумительно мычал что-то похожее на непрерывное «тыя-тыя-тыя». Что ж, это прекрасно отражало бинарную суть мотива и двоичность музыкальной метрики, родственной живому дыханию и сердцебиению. Но я спрашиваю себя до сих пор – были это просто какие-то два слога? Или скрывалось за этим такое же амбивалентное «Ты» и «Я»?..

Клячко был безжалостным хирургом, на урок к нему я отправлялся, как на болезненную, но необходимую операцию. Говорил он мало и никогда не оскорблял. Он только копировал твоё движение, твоё чувство, твою манеру игры, только показывал, как далеко от искренности, простоты и истинной свободы ты находишься. Стоило переборщить с глубокомысленностью и ложным пафосом, как он с видом мыслителя, обеспокоенного судьбой мира, приставлял свой палец ко лбу и препротивно морщил лицо. Играть дальше становилось невозможно. Он нащупывал твою болевую точку и заставлял тебя постоянно ее ощущать, пока ты не приходишь к наивной и мудрой простоте, без всяких чувствительных танцев маленьких умирающих лебедей и выверта рук. Развивая свободу рук, он заставлял слушать бесконечную линию и привыкать к сильнейшему ментальному напряжению, за счет которого она достигается. Стоило только ослабить натяжение и «сморгнуть», как он тебя останавливал – иногда не удавалось сыграть подряд даже пары тактов! Для меня, стойкого и

закаленного в боях с многочисленными педагогами, это было почти что невыносимо, а девочки – те часто выбегали от этого добродушнейшего человека в слезах...

За три года он вывернул меня наизнанку, но только сейчас я действительно понимаю, чего он от меня тогда ожидал. Какое удивительное «последствие» его школы! Люди, которые его знали, мгновенно понимают друг друга, как члены некоего тайного братства. Я узнаю о нем все новые и новые истории. Все помнят его игру, его владение великой тайной звука, который был удивителен и тем и хорош, что не требовал никаких усилий. Рассказывают, как педагоги ЦМШ водили учеников к незаменимому Клячко «на доводку», для последнего штриха перед экзаменами. А еще говорят, что знаменитый Софроницкий, придя как-то после Клячко репетировать и притронувшись к клавишам, сказал: «Я чувствую – только что здесь играл великий музыкант!»

Как и Алиса Кежерадзе, он был неизвестным миру «подпольным» педагогом – рабочей лошадкой, готовящим на конкурс не своих учеников и отдающим все лавры недостойным профессорам. Первоклассный мастер, он принимал свою судьбу безропотно, оставаясь всегда в тени. Его бесила лишь жестокая несправедливость конкурсной мафии по отношению к студентам – ведь об отборе на интернациональные конкурсы ставили в известность только уже негласно отобранных.

А как-то раз, когда в начале очередного учебного года он пришел в свою родную консерваторию и, как всегда, попросил ключ от своего класса, ему ответили, что он у них уже не работает: «на заслуженной пенсии! поздравляем!» Потом спохватились, устроили проводы, концерт. Выступали те, кто когда-то у него учился – десятки знаменитых имен...

А он, старик под восемьдесят, продолжал учить у себя дома. Началась болезнь Паркинсона, руки постоянно дрожали. Но дрожь чудным образом прекращалась, стоило ему только коснуться клавиш...

Потом у него хватило сил и энергии уехать к дочке в Израиль, и через несколько лет до меня дошли слухи, что он и там продолжает учить.

Я не слышал о его смерти. Мне вполне верится, что он жив и сейчас, все такой же скрюченный и улыбающийся мудрой светлой улыбкой, и все так же поет своим ученикам дрожащим голосом: «ты-я ты-я ты...»

*Мюнхен, февраль 2004*